

БЫЛО около пяти часов пополудни 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1917 года. Стоял чудесный тёплый день бабьего лета. По платформе, которую нещадно жгло совсем ещё летнее солнце, мимо выстроившихся вдоль неё фонарных столбов станционного здания с покосившимися буквами «Коломна» прохаживался дежурный унтер-офицер и зевал от непролазной скуки. Шашка, висевшая у него на боку, всякий раз брэнчала, когда он двигался взад-вперёд. В ближайшей, хорошо видной от станции церкви Богоявления — бело-голубоватого цвета, очень уездной купеческой архитектуры — зазвонили к вечерне. Благовест разливался по округе, смешиваясь со звуками железной дороги да ближайших улиц и домов города.

С минуты на минуту должен был прийти московский поезд, но что-то запаздывал. Наконец, со стороны моста через Москву-реку послышался свисток паровоза, потом показался сам локомотив, и состав из синих, красных и зелёных вагонов медленно проплыл вдоль платформы и остановился.

Унтер-офицер одёрнул китель, подтянулся, пошёл навстречу пассажирам. Его внимание тут же привлёк высокий, довольно упитанный молодой человек с надменным выражением лица, явно из благородных, в светлом летнем пальто и шляпе. В одной руке господин держал

дорожный саквояж, другой опирался на трость. Унтер-офицер выпрямился, точно как «на караул», и взял под козырёк. Однако приезжий не обратил ни на него, ни на его приветствие ровным счётом никакого внимания. Он не спеша, с достоинством направился к стоявшим в ряд извозчичьим пролёткам.

— Куда прикажете, барин? — спросил извозчик с плутоватыми глазами, молодой мальёк из ближайшей деревни Пески.

— Полянская, дом Вогау, против Сазоновского сада, — довольно высоким, резковатым голосом отвечивал господин, взбираясь на сиденье пролётки.

— Понимаем-с, мигом доставим-с, — извозчик натянул вожжи, причмокнул на лошадь.

И пролётка, подпрыгивая на ухабах, двинулась по немощёной улице, щедро удобренной конским навозом, мимо обывательских домишек. Над заборами тянулись на улицу ветви яблоневых деревьев, обросшие красными и жёлтыми крепкими яблоками. Стоял густой, терпкий фруктовый аромат. А перед домишками в палисадниках горели разноцветные астры, и повсюду цвели «золотые шары».

Ехать оказалось совсем недалеко. Пролётка остановилась возле низенького домика в четыре окна, перед которым тоже желтели «золотые шары».

— На, возьми, братец, детишкам на молочишко, — сказал господин, подавая извозчику красненькую бумажку¹.

— Премного благодарны-с, барин, ваше благородие. Дай вам Бог доброго здоровья, — отвечивал извозчик, и порожняя пролётка тут же покатила обратно в сторону станции.

Приехавший в Коломну господин был не кто иной, как граф Алексей Николаевич Толстой, довольно известный уже тогда писатель, издавший два собрания сочинений. Граф решил навестить своего знакомого, совсем молодого, 23-летнего, литератора Бориса Вогау, который, начав печататься в 1914 году, когда уже шла война, сменил немецкую фамилию в редакциях, куда он пристраивал свои рассказы (её не хотели ни видеть, ни слышать) на псевдоним Пильняк, навсегда ставший его литературным именем.

Дверь с начищенной медной ручкой отворилась, и из дома выбежал сам Борис — высокий, рыжий, в очках, в домашних туфлях.

— Алексей Николаевич! Дорогой! — закричал Вогау, бросившись к гостю в объятия и несколько раз чмокнув его в пахнущую дорогим одеколоном выбритую щёку. — Как я тебе рад, милый ты мой! Как счастлив, что ты, наконец, выбрался, не побрезговал, в наше уездное захолустье! Посидим, выпьем, закусим, чем Бог послал — времена нынче трудные, побродим по нашему древнему Колымен-граду, здесь ведь столько всякой старины!

— Тоже рад тебя видеть, Борис! — ответил Алексей Толстой. — Ну, что же, веди меня в дом, знакомь со своей благоверной, а дочь у тебя, кажется, ровесница моему Никите.

— Наташка у меня прелесть! — громко воскликнул Пильняк.

— А если бы ты видел моего Никиту! Это такое чудо, чистый ангел. Это наша гордость с Наташей. Она, кстати, велела тебе кланяться².

¹ Красненькая — это было десять рублей. Большая сумма за поездку на извозчике. Но во время Мировой войны деньги стремительно обесценивались.

² Наталия Васильевна Крандиевская-Толстая (1888–1963), в первом браке Волькенштейн, была женой Алексея Толстого до 1935 года.

И так они оба не могли нахвалиться своими крошками — детьми, ровесниками, пока не вошли во всегда так называемый в провинции «зал» — чистую комнату с низким потолком, где в кадке красовался огромный фикус, а на двух подоконниках — всенепременные горшки с геранями. На столе уже стояли нехитрые угощения. Через минуту в комнату вошла строгая на вид, неулыбчивая женщина, выглядевшая явно старше своего молоденького мужа (так оно и было на самом деле), державшая на руках совсем маленькую девчушку, которая при виде незнакомца громко разревелась.

— Рекомендую — моя благоверная, Мария Алексеевна, доктор, вылечила меня от флегмоны, когда я уже почти собрался было отправиться туда, где «нести ни печали, ни воздыхания».

Мария Алексеевна подала гостю руку, которую тот, церемонно поклонившись, поцеловал, и пригласила к столу. Из русской печки в это время доносился прелестный запах домашних пирогов. За рюмкой прибережённой на особый случай полынной настойки, за пирогами, студнем, огурчиками, отменно вкусными щами потекла неторопливая беседа о московских литературных новостях и событиях и о чём угодно ещё, затянувшаяся допоздна. Оба писателя никак не могли досыта наговориться. А любопытные соседи, между тем, пытались зайти поглазеть на важного московского гостя.

Алексей Толстой поведал своему знакомому об инциденте, недавно произошедшем в товариществе «Книгоиздательство писателей в Москве». Вересаев, «античный Вересаша», как он его называл, при выборах пайщиков издательства проголосовал против принятия в их число Леонида Андреева как представителя чуждого — и ему, как он полагал, и издательству — модернистского направления в литературе, отстаивая «чистый», не замутнённый ничем правоверный реализм в духе доброго старого времени. — Уж очень он заважничал (Андреев — *А. Р.*), фу-ты, ну-ты. Богатый, деньги лопатой загребают, роскошная дача в Финляндии, на Карельском перешейке, яхта, на которой он совершает морские путешествия, иногда одеваясь в костюм морского пирата — такой вот «театр для себя», как говаривает милейший Николай Николаевич Евреинов, но какой-то он всё же несчастный. Приглашал сотрудничать в газету «Заря»³, но я уклонился от такой чести. Почти все отказались, кому он разослал приглашения, за исключением, разве что, Куприна, который когда-то морду ему набил...⁴

³ Газета, более известная под названием «Русская воля», издававшаяся в Петрограде с конца 1916 года и упразднённая после Октябрьской революции. Выходила на средства министра внутренних дел и шефа жандармов А. Д. Протопопова при содействии крупных банковских воротил. Ходили слухи, что в финансировании газеты участвовало правительство Вильгельма II. Леонид Андреев возглавлял в ней литературно-театральную часть и был фактически её редактором. В «Русской воле» менее чем в течение года было опубликовано около сотни его художественных и публицистических произведений. Наивный Л. Андреев не совсем понимал, что газета имеет дурную по понятиям того времени репутацию правительственного офиса. В ней, кроме самого Андреева, печатались врач и художественный критик С. С. Голоушев (С. Глаголь), давний его приятель, А. М. Амфитеатров, А. Куприн подписал договор, но так ничего в газету и не дал.

⁴ Имеется в виду инцидент, происшедший в ноябре 1911 года в Петербурге, на Коломенской улице, на квартире актёра Н. Н. Ходотова, когда между сильно выпившими Л. Андреевым и А. И. Куприным вспыхнула грубая ссора, закончившаяся дракой. Об этом тогда много писали, в основном в «жёлтых» газетах.

— Ну, а как поживает наш портной — Белоусов⁵? — спросил Пильняк.

— Да поживает помаленьку. Он, кажется, спелся с Телешовым и Серафимовичем...

— А скажи, Алексей Николаевич, — доверительно обратился к нему Пильняк, — чем ты последнее время занимался, что вышло из-под твоего пера, чем порадовал читателей и поклонников?

— Да вот собираюсь написать одну вещицу — рассказ «День Петра»⁶. Эта эпоха занимает, пожалуй, более всего. Именно тогда завязывались русская государственность и русский характер. Хотя, впрочем, русский характер формировался значительно раньше, наверное. Зреет мысль написать также что-то из эпохи Смутного времени. Вот этим-то мне и любопытна Коломна. Именно здесь происходили стародавние события.

— Ну вот, завтра отправимся на прогулку, и я всё тебе покажу и расскажу, как умею. А тема Петра и меня очень даже интересует. Хочу написать, как этот первый пьяница, грязный сифилитик и мерзопакостник, кощунствовавший над Евангелием и спроектировавший в Дудергофе, недалеко от Стрельны, канал в виде детородного органа со всеми причиндалами, оказался всё же великим реформатором. Не знаю пока, что выйдет⁷.

— Да, а недавно, — перебил Толстой, — встретил я на Тверском бульваре драматурга Мусина-Пушкина, помешавшегося на своём якобы высокородном происхождении. Я его окликнул: «Эй, отпрыск, куда идти потрапляешь?» Он так злобно посмотрел, обернувшись, весь ощерился. А прохожие, по-моему, были очень довольны, — и Толстой громко расхохотался только одному ему присущим «вкусным», утробным хохотом.

...На скрипучей кровати Толстому не спалось. В тесной комнатёнке было жарко и душно. Он охал, ворочался, выходил на крыльцо подышать свежим воздухом. Ночь была тёплая и звёздная. Только перед рассветом кое-как уснул.

Новый день выдался таким же погожим и солнечным, как накануне. «Лишь паутины тонкий волос лежит на праздной борозде», — вспомнилась Толстому пютчевская строка, когда они с Пильняком, поутру напившись чаю с домашними лепёшками, пошли по тихим улицам старинного городка, казалось, застывшего в каком-то обломовском оцепенении. Повсюду за заборами виднелись обывательские огороды с небранной ещё картошкой, репой и всякой другой овощью.

— Жить здесь, пожалуй, спокойнее, чем в Москве, но скучища страшная, прямо-таки мертвецкая, покойницкая... Разговаривать тут вовсе не с кем — провинциальное болото, одним словом, — с нотками раздражения проговорил Пильняк.

В этот момент с ними поравнялась стайка мальчишек, которые, заведя хорошо знакомого Пильняка в обществе важного, явно приезжего господина, закричали хором и засвистали:

⁵ Иван Алексеевич Белоусов (1862–1930), поэт из народа, бывший портной, близкий к литературным собраниям Н. Д. Телешова «Среда», автор мемуаров под заглавием «Литературная среда» (1930). Пильняк хорошо его знал и в течение долгого времени переписывался с ним.

⁶ Рассказ А. Н. Толстого «День Петра» был опубликован в следующем, 1918-м году, в альманахе «Скрижаль», потом вышел и отдельным изданием.

⁷ Рассказ Пильняка на петровскую тему под заглавием «Его величество Кнеб Peter Komando» и повесть «Санкт-Питер-Бурх» были написаны в 1919 и 1921 годах в Коломне.

— Писсатель идёт, писсатель идёт, а с ним такой важный барин! — и собрались запустить в них камнем.

Толстой остановился, тяжело посмотрел, погрозил тростью и с недоброй усмешкой сказал:

— Ишь, сукины дети! Да-с, не сахар жить в таком захолустье, насквозь пропахшем лампадным маслом и кислой капустой и рядом с такими маленькими дикарями. Но ведь всё-таки должна же здесь быть хоть какая-то интеллигенция?

— Да, есть, конечно, кое-кто. Доктор Запольский, например, с целым выводком детей. Старшая — барышня на выданье, младшая титьку сосёт Брушлинский. Скучнейшие гимназические педагоги. Одного из них, Ненашева, между прочим, недавно судили за растление мальчиков. Актёришки провинциальных погорелых театров, неизвестно зачем околачивающиеся здесь. Полоумные поэты, наподобие Симы Девушкина из горьковского «Городка Окурова» — помнишь такого? Им место в доме умалишённых. Инженеры на заводе Струве, надутые, как индюки. Уездные поповны, пропахшие нафталином, наяривающие на дребезжащем фортепиано «Молитву девы». Барышни из мещанок, завывающие дурными голосами «Дышала ночь восторгом сладострастья...». Вот тебе и интеллигенция! — неохотно и как-то с горечью подвёл резюме своему монологу Пильняк.

Одна из улиц рядом скученных домов спускалась вниз, к реке. Из-за поворота, где у древних крепостных ворот виднелась лавка с вывеской «Гарное масло»⁸, грохоча по булыжнику, одна за другой выехали три пролётки; в них сидели, тесно прижавшись друг к другу, до ужаса размалёванные, как куклы, девицы с подобием страусовых перьев в шляпках. Одна, увидев приезжего барина, заорала хриплым, испитым голосом:

— Здравствуйте, папашка, господин хороший! Заходите к нам, не побрезгуйте, милости просим! Меня возьмите! — и визгливо захохотала. Захохотали и остальные девки.

— Цыц, дуры! — прикрикнул на них кучер, для острастки пригрозив кнутом.

Девицы из весёлого заведения (улица в этой её части вся сплошь состояла из домов терпимости невысокого разбора) ехали на осмотр к доктору Ольдекону.

Прошли вдоль торговых рядов и опустевшего красно-кирпичного домика. В мирное время здесь помещалась казённая винная лавка. «Казёнка», как её обычно называли. Теперь, во время войны, продажу спиртного запретили. Лавку закрыли. Но целовальник торговал водкой из-под полы.

Пильняк с Толстым вышли на площадь с высокой красивой колокольней в стиле провинциального ампира, как бы парящей над городом и окрестностями. Напротив стояло здание меблированных комнат купца 2-й гильдии Орлова, а слева, чуть подальше, в глубине двора, виднелся старинный, уже обветшавший купеческий дом.

— Недавно я узнал, — сказал Пильняк, поправив съехавшие с носа очки, — что в этом доме в начале прошлого столетия жил Иван Лажечников, первый русский исторический романист, которого очень превозносил Белинский. В 12-м году он бежал отсюда на войну. Ослушался родителей, обманул их бдительность, сговорившись со знакомым офицером. Дослушался до офицерского чина, воевав в отряде графа Остермана-Толстого.

⁸ Лампадное масло.

— Ах ты, Господи Боже мой! — рассмеялся Толстой. — Тогда бежали на войну, теперь, наоборот, бегут оттуда. Прямо как у Лермонтова. Помнишь из «Беглеца»: «Гарун бежал быстрее лани».

И тут же, посерьёзнев, добавил:

— Лажечникова не люблю — плохой Вальтер Скотт.

Пильняку было необходимо куда-то ненадолго отлучиться по срочному делу. Договорились, что Толстой обратно вернётся один. Борис принёс извинения.

Опираясь на трость, Алексей Николаевич медленно зашагал по главной городской улице — Астраханской: по ней проходил тракт на Астрахань туда, где возвышался остаток древней крепостной стены, весь как бы облепленный мещанскими домишками, лавками, лабазами. Угловая башня крепости, как сообщил Пильняк, именовалась в городе башней Марины Мнишек. Существовало устойчивое предание, что в ней во время Смуты была заточена знаменитая красавица-полячка, а что было с ней потом, никто в точности не знал. Один из историков специально исследовал этот вопрос, написав целую книжку. Но истина, однако, не восторжествовала.

Толстой остановился. На мгновение прикрыл глаза. И вдруг ему, прямо как галлюцинация, совершенно ясно и отчётливо представился этот городок, каким он был в XVI веке. Осадный Государев двор, полки стрельцов, которые затем, по окончании военных действий, в числе «с полсотни» жили здесь, на Посаде, «среди пуста, бурьяна и заколоченных лавок», галок и ворон, копошившихся на сгнившей кровле тогда ещё деревянной крепостной стены. И как в закрытом возке тайно привезли сюда польскую шляхтенку и заточили в башне. Как тут не вспомнить было Пушкина, «Бориса Годунова», знаменитую сцену «У фонтана»!

— Да, — очнулся Толстой, — вот об этом стоило бы написать. А вот интересно, бывал ли в Коломне Пушкин? Надо спросить у Бориса⁹.

Затем он поднялся на пригорок, где в перспективе улицы виднелся пятиглавый собор, монастырские постройки. Свернул налево и вышел на высокий берег Москвы-реки. Здесь на месте древнего земляного вала было нечто вроде городского бульвара под названием «Блюдечко». Народу, гулявшего в это время, не видно было никого. Толстой присел на шаткую скамейку, посмотрел на реку, несущую свои древние воды в протекавшую в трёх верстах Оку, на сверкающий зелеными луг за рекой и видневшийся почти на горизонте древний монастырь, окружённый лесом.

Ему вспомнилась Самара 1890-х годов, скучная, пыльная, с городовым на перекрёстке, жёсткие усищи которого «овевались запахом мещанских пирогов». Так Толстой впоследствии напишет в одной из своих автобиографий. Вспомнил матушку Александру Леонтьевну Бостром, умершую в 1906 году от скоротечного менингита... И так стало больно, горько и тяжело на душе.

Посидев немного ещё, он направился к собору, где начиналась служба. Только что вышел из алтаря священник, протоиерей Никольский, и провозгласил: «Слава в Вышних Богу, и на небеси, и на земли, и в человецех благоволение», осенил крестным знамением прихожан. Толстой постоял, приложился к образу Богоматери. Поставил две свечки: одну за упокой души рабы Божьей Алек-

⁹ Достоверно известно, что А. С. Пушкин в Коломне не бывал, несмотря на измышления современных краеведов и ошибку, сделанную И. С. Соколовым-Микитовым в рассказе «Ава».

сандры, а другую — во здравие раба Божьего Алексея, своего отчима Алексея Аполлоновича Бострома, жившего где-то на хуторе в Самарской губернии, с которым он совсем потерял связь. А ведь когда-то Алексей Аполлонович воспитывал его как родного сына. Да Толстой и считался официально его сыном, вплоть до 16-летия. И только лишь после смерти своего кровного отца графа Николая Александровича Толстого унаследовал титул и знаменитую фамилию, сделавшую его некоторое время спустя «третьим Толстым» в литературе¹⁰.

Толстой уезжал в Москву, на следующее утро Пильняк с кем-то из увязавшихся за ним соседей проводил его на станцию. Поезд тронулся. Переехал мост через Москву-реку. Толстой ещё раз посмотрел на панораму города. Блестели на солнце главы многочисленных церквей. Уже слегка тронуло осеннее увядание зелень коломенских яблоневого садов. Через несколько мгновений всё это скрылось за полями и перелесками.

Вновь увидеть Коломну Толстому суждено было через очень много лет, по какой-то случайной оказии. Автору этих строк когда-то рассказал об этом словоохотливый старик, генерал-майор в отставке, шурин писателя И. С. Соколова-Микитова. Как в военном 1943 году, в начале зимы, ещё в чине полковника-артиллериста, приезжал в Коломну вместе с живым классиком, орденоносцем и неоднократным Сталинским лауреатом Алексеем Толстым с целью приобретения в Коломне какой-то легковой машины. Машина была приобретена. Они ездили на ней по городу. По всей видимости, не вполне трезвые, так как генерал вспоминал, что они очень крепко выпили тогда.

А пока в Москве, на Малой Молчановке, в доме со львами у подъезда, в просторной квартире Алексея Николаевича ждала Наталья Васильевна, крапивоносная женщина с лучистыми глазами, вместе с полугодовалым сыном Никитой.

Впереди, уже совсем близко, на расстоянии, что называется, вытянутой руки, виднелись новые смутные времена, едва ли не страшнее тех, средневековых. Революция, разразившаяся через два с небольшим месяца, начисто перевернувшая всю привычную, устоявшуюся жизнь. Кровопролитная Гражданская война. Начавшийся в 1918 году в Москве голод, когда на дверях Елисеевского гастронома появилось злое объявление: «Продуктов нет и не будет». Затем красный террор, вследствие которого жизнь в Москве стала не только невыносимо тяжёлой, но и ежеминутно опасной. Отъезд на Украину, в Одессу, где Толстой начал сотрудничать с белогвардейской прессой, а по слухам, ещё и содержал игорный притон. Потом было путешествие, полное опасностей, неожиданностей и приключений, на пароходе Добровольческого флота «Кавказ» в Константинополь. В повести 1924 года «Похождение Невзоров, или Ибикус» Толстой великолепно описал, как беженцев из России обязали проходить униженный карантин. Последовали годы в эмиграции: во Франции, в Бордо и Париже, затем в Германии.

И только в Берлине в 1922 году он написал «Повесть Смутного времени», в которой со всем блеском своего пера изобразил средневековую Коломну от лица некоего «блаженного Нифонта», постриженного при церкви Николая Чудотворца в попы и забавлявшего царя и бояр шутками и прибаутками. Впервые эта повесть А. Н. Толстого увидела свет в берлинском издательстве «Эпоха» и получила очень положительные отзывы Горького и других видных литераторов как в Европе, так и в Советской России.

¹⁰ Выражение принадлежит И. А. Бунину.



Русские писатели в Берлине. Сидят (слева направо): А. М. Ремизов, А. С. Яценко; стоят: Андрей Белый, Б. А. Пильняк, А. Н. Толстой, И. С. Соколов-Микитов. 1922

Там же, в Берлине, на улице Курфюрстендамм, в том же 1922 году, в редакции просоветской газеты «Накануне» Толстой вновь встретился с Пильняком. Там появилась на свет и известная впоследствии фотография, где Пильняк стоит рядом с Алексеем Николаевичем, строгим и насупленным, хитро и лукаво поглядывая на него из-под очков. На этой же фотографии засняты И. С. Соколов-Микитов, А. М. Ремизов, Андрей Белый, А. С. Яценко.

Потом, в Советской России, двое писателей общались очень мало. Однако в 1933 году Пильняк, тогда очень знаменитый, но которого уже не через столь далёкое время ожидала страшная судьба 1937 года, приезжал к ещё более знаменитому Алексею Толстому в гости в Царское Село, переименованное тогда в Детское Село, в его прекрасный дом из двенадцати комнат, со старинной мебелью, великолепными вещами и картинами да обильным застольем. Приезжал вместе со своей 16-летней дочерью Наташей, собиравшейся поступать в Московский институт иностранных языков, но тогда ещё учившейся в школе. Сыну Толстого Никите, подлинной гордости родителей, приятному, очень интеллигентному юноше в очках, готовившемуся в университет, тоже было 16 лет. Кроме того, у Толстых был ещё младший сын Митя, будущий композитор, которого тогда учили музыке, и он целыми днями услаждал дом своим ещё школьным музицированием на рояле.

Но всё это будет много-много позже. А сейчас поезд, постукивая на стыках (как тут не вспомнить было хорошо знакомого и любимого с детства Некрасова: «Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою»), и увозил молодого и полного жизненных и творческих сил писателя в Москву, пока не испытывшую грядущих, совсем уже близких, «неслыханных перемен».

Р. С. В рассказе намеренно, совершенно сознательно, в порядке литературного приёма искажены и сдвинуты некоторые преимущественно биографические, а также и историко-литературные факты.